



И. А. ИЛЬИН

Письма к Л. Я. Гуревич

*Л. Я. Гуревич 1907. 16 сент <ября>
<Полянки¹>*

Дорогая Любочка!

Не писал тебе до сих пор потому, что ждал от *тебя* сначала словечка и почти был уверен, что оно прилетит. Вот оно и прилетело! Но в нем есть одна вещь, сделавшая мне больно. О ней прежде всего, ибо она до известной степени есть символ и выражение большого внутреннего стечения обстоятельств в наших отношениях с тобой. А о чем же прежде всего, как не о самом важном?..

Как могла ты подумать, что я мог подумать, что твой отъезд в Петербург не есть нечто большое и внутренне важное? Вот первый вопрос, который я себе задал по прочтении твоего письма и скоро ответил себе на него, ибо ответ жил в душе и раньше. Потому случилось это, что потерялось живое прикосновение души к душе и яркое ощущение потускнело. Таково было стечение неумолимых обстоятельств за последних два года. При известном отношении человека к человеку достаточно бывает крупниц, чтобы понять, скорее, почувствовать многое, не данное сознанию непосредственно, и яркое ощущение этого-то отношения потускнело и поблекло у тебя по отношению ко мне. Тех крупниц, которые я добыл расспросами (в пределах допустимого, конечно) о том, что совершается и с кем и немногих слов, оброненных тобою в Москве той зимой, было для меня достаточно, чтобы я мог одно почувствовать вместе с тобой, а другое понять и объяснить про себя. Если бы даже я ни о чем не имел представления, то у меня неразрывно срослось с душой представление о том, что то, что заставляет тебя глубоко чувство-

вать и переживать положительное настроение, не может быть иным, как высоким и прекрасным.

Следует выговорить это: наши отношения, моя Любочка, существовали за последние два года в кредит. При редких встречах наших я ни разу не ощутил твою индивидуальность так ярко, как того непременно хотелось, как требовало эстетическое и еще другое чувство. Нет на свете ничего прекраснее — индивидуального, тем более прекраснее — прекрасного индивидуального. О целостности я не говорю, ибо она всегда *im werden begriffen*². Но когда этому *werden*³ становится предел и предел этот исходит от того, что по существу своему не есть непосредственно создающее новую индивидуальную ценность, то совершается медленное убийство; это убийство может быть и сознательным самоубийством, что это меняет? Ужасно, трагично, бесконечно трагичнее физического самоубийства, которое может и не быть медленным и, главное, которое оставляет в душе брезжащую иллюзию освобождения. Убить прекрасное, убить Бога — хорошо во имя прекрасного, во имя Бога; но во имя нивелирования — ужасно, невыносимо! Штирнер⁴ в иллюзии, когда говорит, что бунтует против идеала вообще. Есть высшее, святейшее, для миллионов недостижимое самозаклание; о нем молчат все, ибо они его не знают; они кричат, что спокойная кабинетность есть сытость, — и потому кричат они это, что спокойствие есть для них синоним физической малоподвижности, а геройство — отказ от физической сытости. Не понять двумерному — трехмерного, как нам не ухватить идеи четвертого измерения. Пусть их! Но не уходи от этого самозаклания! Так, как ты уходила в эти два года. И каждый раз, как мы встречались, я живо чувствовал, что тебе не до себя и, уж подавно, не до меня. Ибо я оторвался от служения неиндивидуальному (т. е., конечно: не индивидуальному *непосредственно*) и не мог найти тебя *в нем*; а *в тебе* — я тебя не находил. И каждое свидание давало мне большое ощущение того, что ты ушла от непосредственно-индивидуального, и наполняло меня бунтом, бунтом вообще против принципа, против начала, ибо индивидуальное *единственно* и *невосстановимо* в своей прекрасности, ибо неповторяемость конкретного всегда наполняет ужасом человека (в этом тайна «прошлого», тайна смерти), неповторяемость же прекрасного, дорогого мне прекрасного, наполняет меня страданием.

Таковы были эти два года. Мне верится, я почти уверен, что они кончились, что они в прошлом и, след<овательно>, неповторяемы. Но первым выражением и закреплением этой непо-

вторимости для меня должно быть восстановление непосредственного и яркого ощущения наших отношений в той модифицированной форме, которая теперь имманентно присуща моим переживаниям и отношениям. Для меня будет огромной радостью, большим и светлым совершением, когда придут в настоящее соприкосновение ты и наша душа, ты и Таля⁵ и ты и я; возможность такого настоящего соприкосновения существовала всегда, но всякая возможность имеет два лица: лицо реализуемости и лицо нереализуемости, и во мне создалось интенсивное чувство (особенно после твоего письма), что возможность эта уже повернулась к нам своим первым лицом, выражающим надежду и обещание. Твое письмо принесло мне психологическую реализуемость, его я ждал, серенький конверт принес мне масляную ветку; мое письмо несет тебе реализуемость объективную, которой, по-видимому, нет и следа в твоём. Во второй половине двадцатых чисел сентября мы переселяемся в Москву. Пусть твой отъезд из Крюковки⁶ будет около 1 октября, не раньше, но когда угодно позднее и ты уделишь нам столько дней в Москве, сколько окажется возможным. Не думай при этом ни секунды о внешнем устройении; все будет у нас и все будет для всех хорошо и удобно. Пусть мысль о каких-нибудь неудобствах ни на минутку не поселяется в тебе по отношению к Москве. Что же касается Люля⁷, то расскажи Котику⁸, как было бы хорошо, если бы ты провела у нас несколько дней, и она подарит нам их. Люль же тебя отпустит, я убежден в этом, ибо он у тебя понимает необычайно много и чутко...

Любочка моя, сделай это, сделай, выкрой эти несколько дней! Меня беспокоит только то обстоятельство, что глаза Котика требуют серьезного лечения и поездки на юг, но мне верится, что перст Разума устроит и ее здоровье, и наше свидание к лучшему.

Конец приходит моему письму. Я непременно напишу тебе, как мы читали и что думали о твоей драме. Но не в этом письме. Мы читали и твою последнюю вещь в августовской книжке «Нивы». Кое-что напишется легче, чем скажется; но многое никогда не напишется, а может только непосредственно сказаться и конкретно почувствоваться. Напиши же мне хоть маленькую писулучку с отрадным известием положительного характера. Мы тебя очень хотим в Москву, мы убеждены, что ты это устроишь! И целуем тебя крепко.

Ваня.

Таля шлет поцелуй Люлю. И я целую мою маленькую хозяйку. Передай ей это от ее «большого Игруша». А что, она передала тебе после твоего возвращения мой поцелуй? Если нет, спроси ее об этом.

Л. Я. Гуревич 1911. Февр<аля> 15/2
(Берлин⁹)

Любочка моя!

Письмо твое взволновало меня: удручило по преимуществу, но и тронуло в самую душу. Ты не писала еще мне так. Я не жалею, что написал тебе то, что написал, но браню себя за необходимость, которая есть проявление недостаточной бережливости и осторожности. Будь уверена, что и впредь, и сейчас — *все* скажу и напишу; ибо молчание есть вещь жалостливая и недостойная (хотел бы и для себя всегда того же). Но ты не восприняла бы, наверное, мою «критику» как «убийственную», если бы я написал то, что написал, обстоятельнее. Именно *убийственность* отсутствует в ней всецело; именно ее-то и нет в вынесенных мною впечатлениях. Я хотел сказать тебе: мне кажется, что в той внутренней работе над собой, которую все мы обычно производим так, что пуантируем¹⁰ более несовершенные и недоработанные места нашей души и вокруг них скопляем бессознательно совершенствующую энергию (как воины сбегаются на крепостных стенах к бреши), — что в этой работе *критика* (род<ительный> пад<еж>) над самим собою тебе следует обратить внимание на выявление *положительных* целей и задач, скажем, современного театра; к суждению вкуса, которое у тебя обыкновенно безукоризненно, четко и тонко, хочется большей положительно-теоретической яви. Это само собой подразумевает, что я чувствую: не только тебе *не* следует (с высшей точки зрения, с точки зрения объективной ценности — от субъективного, столь мучительно-сложного для тебя, я пока отвлекаюсь), не следует *бросать* критику, но следует к этой способности, к способности эстетического суждения, добавить известную теоретическую положительность. Мое впечатление: *не* «*нехорошо* написано», а «*мало* развита эта самая сущность того, *к чему* нужно стремиться, *куда* нужно идти». Хочется, чтобы в дальнейшем пуантировалось именно это, хочется *больше* об этом, и не вообще, а *именно от тебя*, и *не* от тебя такой, какая ты предносишься себе (другая, «умная», проглотившая в сто раз больше — все мы предносимся себе в таком «желанном» виде), а от тебя, *какая ты есть* и *какая может* сделать то, чего

мне хочется. Конкретнее говоря, хочется знать, что значит углубление, оцельнение, оконкретнение театра и драмы? И в чем же, теоретически говоря, завоевания Станиславского? ¹¹ Он идет глубже, но *куда* глубже? И в чем сущность той *цельности* и того единства, которое он вносит? Не *плохо* то, что это еще не развито у тебя. А будет чудесно, если ты скажешь об этом. Скажешь — если *уже* знаешь и решила, и пуантируешь в душе, как подлежащее постепенному и для себя самой, может быть, незаметному прояснению, а затем написанию, — если *еще* не решила.

Хочется, напр<имер>, знать: что такое стилизация на сцене? в чем ее сущность? во всякой ли пьесе она допустима и поскольку? или не во всякой и почему не во всякой? касается она только линий? или линий и красок? или, кроме пространственного, еще и внутреннего, психического? и не есть ли *новая* «цельность» сценических постановок — эта самая стилизация? и как относится *цельность* всей постановки к отдельным составным моментам? К вещественному и к индивидуальности артиста? и в чем бесконечная возможность новых попыток оцельнения? И в чем сущность *пути* Станиславского (ибо *он* есть дух, движущий ныне театр)? В *переживании* и в *режиссерстве* и в *декорации*?

И если ты не скажешь этого, то кто же теперь может сказать это? А главное: я твердо убежден, что для этого нужны *не книги*, а *личные восприятия* человека, *любящего* Худ<ожественный> театр так, как ты его любишь, и *внутреннее размышление* над ними. Здесь работа — бесконечно соблазнительная, благодарная и *неотложная*, — ибо постановки Станиславского — до известной степени эфемериды... ¹²

Голубчик мой! Ну за что же ты будешь ненавидеть свои заметки? Они как свежий воздух, который пьешь и вдыхаешь; они *талантливы* и *ароматны*. Их нужно собирать и совершенствовать; и литературная антиномия — размер и качество мысли — не кажется мне столь безвыходной: *одна* теоретич<еская> мысль — может напитать целую заметку. А теперь о Толстом. Я *не сомневаюсь*, что то, что ты имеешь сказать о Толстом и его эстетике (я это чувствовал из разговоров с тобой в Берлине), будет еще свежее и тоньше, чем последние заметки. *Убеждаю тебя* и *всячески* уговариваю: забудь сомнения и всякую скромность, вспомни, что у тебя есть огромный источник для *верного* написания, и пиши. Этот источник — то интенсивное и интимное *ощущение его личности*, которое так цельно и эстетично, так *прекрасно* живет в тебе; мысль, *преломленная* в этом ис-

точнике, — есть «Glückskind¹³ духовного мира», и если за *нее* можно беспокоиться, то... что же тогда вообще можно говорить с уверенностью на этом свете?!...

О Рейнгарде¹⁴ не возражаю: у тебя больше материала, ты больше видела, а о декоративной стороне я, кажется, действительно недопонял. Знаю только, что душа моя полна отврата к этому театру, этим постановкам («Фауст» и «Отелло») и этой игре.

Людям, по их малодушию, свойственно откладывать под конец самое трудное и сложное. Так и я. Я нахожусь в глубочайшей удрученности по вопросу о твоих личных путях и о твоём самочувствии. В высшей степени чувствую я эту трагическую позицию между требованием интимнейшего ядра и «внешними», если можно потерпеть здесь это слово, силами. И так сильно, так настойчиво требует душа, чтобы я сказал тебе: **брось все** и пиши то, что родится в душе и требует к себе внимания. Я понимаю твоё отношение к Струве, но... Ведь слово, данное Струве, сам Струве — ведь это в конце концов и в сущности *эмпирический факт*, и можно ли, следует ли отдавать эмпирическому факту свой «голос», свой «дар» на изнасилование?.. Неужели же мораль, как ни хороша она «сама по себе», годится только на то, чтобы санкционировать *это* изнасилование и всякое другое? И, подходя к этому вопросу, я чувствую каждый раз внутреннее отупение оттого, что у меня есть только *моя воля*, которую не решишь ничего. Но если нельзя отказаться от «Р<усской> м<ысли>» вовсе — *поговори со Струве так, как ты написала мне, или почти так*. Он должен многое понять, что кроме «Русской мысли» и его, *Струве*, есть ещё **ты** и *что это-то и главное* в высшем смысле этого слова. Он должен понять это и отпустить тебя, если не совсем, то на «через месяц»*, и согласиться на «Речь». Тогда ты будешь писать в «Р<усскую> м<ысль>» о том, что «остаётся», а в «Речь» — о том, что «уходит», *не стесняя себя* и не давая себя *залопывать*. Неужели же Струве, если он правда *Струве*, не сумеет найти в себе другой *высшей* точки зрения, неужели он *только редактор* «Р<усской> мысли»?

* Т. е. чтобы готовить через книжку статью.

Тоньше еще и мучительнее, чувствую я, твое отношение к Ю<лии> Л<азаревне>¹⁵. Тут я не решаюсь сказать что бы то ни было. Я просто впитал в себя все, что ты пишешь, и испытал за тебя. Чувствую, однако, что я бы ей написал все как есть. Есть случаи, когда надо просто *верить в человека*, и я *верю*, что если *вера* есть, а она в этом случае должна быть, то *одна наличность* ее гарантирует, что будет и в «нем» то, что нужно. Я переживаю Ю<лию> Л<азаревну> так, что лишил бы ее и удовлетворения от сознания, что ее помощь не так непосредственно действительна. И потом... если помогаешь *мне*, так помогай *мне в моем лучшем*, в том, чего я *хочу* как *своего лучшего* и что я *люблю в себе*. И, думается, чудится мне, что она должна это понять и так же пережить.

Больно слушать, когда ты говоришь о том, что ты виновата и понесешь наказание. Боже мой! Неужели тебе еще следует быть наказываемой, неужели не довольно с тебя? Нет: что есть во мне бодрости, я бы дал тебе, чтобы ты *твердо шла* за осуществлением того, что ты в себе растешь и любишь. Что в том, что «она» или «они» не верят или сомневаются? Хоть бы *весь мир отрицал*. То, что прет, пусть прет свободно, хотя бы ценою «свинства». Но Струве *должен понять и разрешить* тебя от необходимости понести в душе новую тяжесть, хотя бы и «полугадкого», отказа и «подвода».

Все, что напишешь, *все* присылай мне: я заранее *люблю* каждую твою вещь и протестую против твоего обещания ненавидеть ее!

Отношения твои с Люлем чувствуются очень близко и живо из твоего письма, но, видит Бог, если взять все вместе, все осложнения и затруднения твоей эмпирической и сверхэмпирической (главное) жизни — то «бедной девочки» — я не переживал в тебе ни одной минуты. У Тали есть одно свойство: она ощущает в самых сложных и трагических конфликтах, в которых стоят другие, тем менее жалости к ним и тем более «верящего» требования, чем больше и выше ценит стоящего в конфликте и антиномии. Это свойство я заимствовал у нее (конечно, в пределах даденности) и именно так ощущаю теперь тебя. Чем труднее, тем сильнее; чем сложнее, тем бодрее. И верю, верю удивительно твердо, что в пределах *физической* силы *духовно-творческая* обречена в тебе на победу. *Сила*, которая хочет творить в нас, — *не от нас*: вот одна из последних тайн, о которых трудно, и не нужно, и кощунственно говорить. Так и с тобою.

Я не пишу тебе пока больше ни о чем, мой родной, мой близкий Люб; все откладываю, а *просьбу* о студенте не забуду. Непременно пришли мне о «ритме» — интересно и ценно. Сегодня пришло письмо от мамочки. Скажи ей, что я ее нежно люблю.

Котик и ее семья, Луарсаб¹⁶ — не иначе воспринимаются мною, как угнетающе. Подсунула ли ты Луарсабу Фрейда? Не забудь!..

Крепко тебя обнимаю и очень верю в твой путь *из* антиномии и к «себе». Таля тебя и Люля целует. Я тоже.

Твой душою В<аня>.

Непременно напиши, если *что-нибудь* решишь. С Ю<лией> Л<азарвной> я буду осторожен.

Л. Я. Гуревич 1911. 27/14 мая
Гёттинген

Любочка моя!

Ты с трудом только можешь себе представить, как меня тронула та коллекция ругательств, которую я получил от тебя только что. У меня, видишь ли, *всю жизнь* было впечатление, что я на тебя «опоздал» и что разве только необычайная мягкость и любезность твоего душевного капельдинера пустит меня «постоять» на галерке твоей души. Конечно, никто не был виноват в этом, и не потому только, что «обвиноватить *никого* нельзя», а потому, что было очевидно, что *так*, а не иначе сложившаяся констелляция¹⁷ *времен* принадлежит к ряду объективного That bestand'a¹⁸, где категория «вины» *абсолютно* не гнездится. Но брань твоя — *хочет* чего-то от меня, и я на минуту серьезно почувствовал, что я тебе «сгодился»... *

Прежде всего о тебе. «Толстого» мы прочли, конечно, немедленно по получении. Твоя работа приковывает к себе с самого начала глубиной и значительностью *твоего личного* переживания. Она несколько смятенная и порывистая, но это и есть тот верный тон, в котором «прилично» (в высшем смысле этого слова) писать о Толстом. Это самое достойное и по подходу любовное и бережное из всего, что было за последний год написано о Толстом. От этого, конечно, еще больше почувствовалась та личная и мелкодонная болтовня, которой набилась печать после его смерти.

Статья твоя, страдающая и взволнованная, осветила для меня лично Толстого как теоретика красоты совсем по-новому,

* Начало вышло какое-то туповато-жалковатое, но зато проглотился давний глоток.

и если интуитивное ощущение мое верно, то *большинство* сказанного тобою о нем — верно какой-то *внутренней*, не познающей, а постигающей и чующей, волнующей верностью. Чуждость этого необычайного человека и родимость его осязались заново и изблизи; и почувствовалось, как зов и долг: оправдать его искания от того налета или той оболочки чуждающегося идиотизма, в которой душа современного обывателя, ищущая поводов для того, чтобы отмахнуться от назойливого бурава его мысли, — при<у>чила себя воспринимать его искания.

Отличительная черта гения — трагическая борьба за *органически-единое* узрение Несказанного в элементе мысли и в элементе художественного — была свойственна Толстому в особом, своеобразном роде, и это я почувствовал с большою определенностью. Твоя работа беспокоит, и будоражит, и вызывает ощущение того художественного умонастроения, в котором ты сейчас живешь. Хочется, чтобы ты уверенно и бодро шла им в своем творчестве; ведь толь<ко> «голоса, зовущие в ночи», — суть наши подлинные Вехи. Не кончу сейчас письма; спешно отрываюсь.

Я не писал тебе долго потому, что почти тотчас же по приезде в Гёттинген сделал большое внутреннее усилие и ушел в учение. Усилие было нужно тем большее, что за месяц жадного, пьющего зрения душа отвыкла от категорий рационального, и мне все казалось, что глубокое никак *не* может быть выражено *не* линией и формой, *без* них. Успокоился тогда, когда почувствовал опять, что *может*, но тяготеет и к ним¹⁹.

В настоящее время философия переживает тот момент, когда понятие прожило свое богатство, износилось и протерлось внутренне до дыры. И современные гносеологи напрасно выворачивают его, надеясь починить его как-нибудь или уповая на самочинное внутреннее зарождение в нем нового содержания. *Понятие голодает* по содержанию все сильнее и сильнее; оно вспоминает те времена, когда в нем жило бесконечное богатство, когда оно само несло в себе бездну; понятие жадно тянется к иррациональному, к неизмеримой полноте и глубине духовной жизни. Не *погибнуть* в иррациональном, а *впитать* его и расцвести в нем и с ним — вот чего оно хочет; философия должна вспыхнуть и развернуть неизмеримые недра в себе, не порывая своего родства с наукой, т. е. сохраняя в себе борьбу за доказательность и ясность. Вне этого ей остается или мучитель-

ное умирание на школьных станках, или захлебывание в набегающей пене эмпирической религиозности. Пустословие зарадившегося рационализма и пышнословие самодовольного православничания — вот полюса ее гибели. Душа моя тоскует по синтезу глубины переживания с победною кристалльностью формы и тянется к тем огромным, к тем героям, которые видели этот свет как желанный и путеводный. Есть тысячи видов и оттенков сочетания этих полюсов, но иного уже не захочет тот, кто коснулся и ожегся об этот свет.

Целые гнезда выжжены во мне тем, что я видел, главное во Флоренции. И, возвращаясь к этим гнездам, я сам невольно удерживаю дыхание и умолкаю, чтобы не коснуться недостойно этих мест. Что-то постарело за этот месяц во мне, что-то свернулось и ушло в себя. Знание не только радость и боль, знание — старость и молчание. Что-то медленно, но тяжело и бесповоротно перелаживается во мне, и говорить об этом невозможно. Какие-то углы и опоры вышли из равновесия перед тем, как уложиться окончательно и по-новому.

Завтра к нам приезжает по пути из Лондона и Парижа Юлия Лазаревна. Будет нас, наверное, сманивать в Тегернзее, но мы стремимся в августе на *океан* и хотим ее *туда* сманить. К океану меня влечет неудержимо, и если мы не умрем до тех пор, то это — реализуется. Здесь же мы устроились хорошо; много зелени и тишины, много ученья и иногда даже интересное общение с Гуссерлем и его школой. Пробудем тут, во всяком случае, до начала августа. А в сентябре — в Париж. Командировка моя кончается в декабре 1912 г.; подал прошение о продолжении ее на $\frac{1}{2}$ года; боюсь не дадут, тогда придется вернуться посреди зимы, взять лекции и провести полугодие на бивуаках, ибо квартиры не найдешь в январе. Было бы очень хорошо получить продолжение; тогда удалось бы проехать в конце апреля прямо в Выропаевку²⁰ и до осени 1912 г. сильно подвинуть диссертацию о Гегеле. Иначе, конечно, все затормозится. Возвращаться в Москву тягостно из-за университета; могут забить его сволочью; ревизия, назначенная Кассо²¹, — гнусность мелкого злобствующего хама. Хуже всего то, что за 10 лет своего московского профессорства он мог вышпионить какие-нибудь слу-

чайные упущения, — и теперь думает предать наших суду. Тягостно!..

Лекции мне обеспечены, во всяком случае, на женских юридических курсах. Постараюсь в университете не читать, но могут заставить рано или поздно. Уход всеобщий был, кажется, все-таки героической ошибкой...

Все, что ты напишешь о художниках, — ты обязана прислать мне сюда. Иначе уж я напишу тебе ругалку, но такую, что не вспомнишься!.. Боюсь очень, как бы не сняли Карамазовых со сцены к моему возвращению в Россию. Напиши о Станиславском! Ты знаешь, как я ценю его нумен²² и его феномены! Жадно хотел бы видеть Леонидова²³ в «Карамазовых»!

В последнем письмеце твоём ты ничего не писала о себе, и теперь только я узнал из ругалочки твоей, что ты уезжаешь 20-го в деревню. *Страшно одобряю тебя за это; деревня — это незаменимо!* Напиши, что будешь делать там, что читать? Что писать? Напиши непременно, говорила ли со Струве? И как теперь твои отношения к «Русской мысли»? Главное — очисти себе место для духа, который ищет себе выхода!

Как хорошо было бы нам: Юлии Лазаревне, тебе и нам пожить в августе вместе на океане! Поучиться и поотдыхать и развить свою атмосферу!!

Напиши мне о Люлечке и о маме. Скажи им обеим от меня такое большое и соответственное каждой.

Таля шлет тебе привет и целует Люля и тебя. От нас обоим всем твоим привет. Но письмо это оставь про тебя (впрочем, от мамы оно не таятся).

Написал в марте новую большую вещь о Фихте²⁴, хочу отослать в «Вопросы философии». «Archiv für systematische Philosophie»²⁵ принял мою статью для напечатания по-немецки (это работа о Праве и Силе²⁶); скажи об этом Луарсабу. Котику и ему собираюсь написать.

От Струве не имею пока ничего и очень жалею; хотелось бы очень слышать его непосредственно. Не говорил ли он, когда пустит? Присылают ли они гранки? Это важно! Не послать ли в редакцию отдельно мой адрес? Крепко тебя обнимаю, моя родная и милая.

Твой Ванька.

Л. Я. Гуревич 1911. 13 Aug./31 июля
 <Бретань>

Любочка моя!

Сколько ни возвращался я мысленно к тому пункту, на котором сосредоточились за последнее время твои работы, я неизменно выносил впечатление, что суть дела сводится к теоретически-практическому вопросу о том, что такое «художественность». И вот, мне представляется, что вопрос этот принадлежит к числу так называемых мною «круглых» вопросов, т. е. таких, пограничная оболочка которых до незацепимости гладка и до возвращения к исходному пункту незацепима. Это бывает с вопросами, которые или вовсе и никогда никем не поднимались, или о которых давно не говорилось ничего истинно нового и проникающего; в последнем случае бывает обыкновенно так, что добытое кем-то и когда-то, взрытая зацепа — примаслилась опять и втерлась (от ходового злоупотребления) опять, назад, в свое старое гнездо. И шар проблемы вертится в руках без успеха и без раскрытия. Надо «надкусить» поверхность, как кожу у апельсина...

Для таких вопросов, которым несть числа в логике и вообще во всех философских областях, — за последнее время стал выработываться так называемый «феноменологический» метод, сущность которого (в корне своем он стар, как сама философия) состоит, говоря в двух словах, в следующем правиле: «анализу того или другого предмета должно предшествовать *интуитивное* погружение в *переживание* анализируемого предмета». Значит: фиксируй прежде всего то, что подлежит исследованию (в данном случае «художественность как объективное свойство словесно-изобразительных эстетических созданий»); выбери ряд более или менее ярких случаев несомненной наличности такой художественности (для контраста хороши бывают неровные или смешанные случаи и примеры) и, закрыв глаза на: 1) предрассудки, 2) всякие уже готовые на этот счет теории, 3) на свои собственные предубеждения, 4) на себя как переживающую или преломляющую среду, — уйди с головой в переживание этой художественности; при этом проделывай (противоестественное для цельного переживания) рефлектирующее обрывание его, для ради наиболее адекватной фиксации данного тебе «художественного» в его сущности. Добытое опиши так, как оно было тебе дано. Материалы таких описательных анализов дадут путь к прорыву круглого вопроса.

Этот феноменологический или дескриптивный метод, у знаменитого возродителя коего (в логике) я провел теперь все

лето (Гуссерль, Husserl), дает и может дать, несомненно, массу нового и удивительно, непредставимо ценного по своему значению. Там, где виделись пустоты, оказываются заселенные места, где виделись заселенные места, — обнаруживаются мнимые проблемы. Но главное — в гуманитарных, а особенно философских, областях это есть единственный путь к тому «надкусу», о котором я только что упомянул.

Я очертил эту схему кратко и сжато. Но сущность этих операций, которую Husserl характеризует, «sich etwas zur Gegebenheit bringen»²⁷ и «schauen»²⁸, постигается лучше всего в непосредственных самостоятельных опытах. В них возможны и необходимы *повторные возвращения* к одному и тому же переживанию проверки и возобновления процесса; в них важны изолирующие тот или другой момент *эксперименты*, постепенное восхождение от элементарной по составу художественности к исследованию наиболее сложных, глубоких и спорных примеров; нужна известная энергия и настойчивость в выборе материала; страшно полезно бывает общение и взаимная проверка у сходно мыслящих. Особенно последнее может дать много: бодрость в движении, поправки, выяснения. И это возможно потому, что schauen одну и ту же сущность, данную в переживании, может каждый.

Несомненно еще, что все мы нередко фактически проделываем эти или сходные операции или пытаемся их проделать. Но важно признать сущность этих операций и стремиться к их постоянному и сознательному (если не систематическому) проделыванию. Важна, конечно, запись добытого, хотя бы не систематическая.

Пробраться сквозь чащу спекулятивных придумок и рассудочных построений, навязывающихся нашей ленивой мысли (ибо у всех нас она, матушка, склонна на готовеньком выезжать) с бойкостью сухаревских приказчиков, — вот первый, и очень трудный, этап в этой работе. Тривиальненькие ходячести умеют прижиматься в уголок и симулировать свое отсутствие. Но даже если и не вычистишь их — каждый шаг по этому живому пути, сплетающему непосредственную, умирающую в созерцании предмета, интуицию с улавливающим и прикрепляющим анализом, — каждый шаг дарит цветок настоящего познания, во всем, свойственном ему, свежем благоухании.

Было бы очень интересно произвести такой опыт: взять что-нибудь из Чехова (у меня есть с собой IV том марксовского издания²⁹), не из самого лучшего, и попытаться сказать, что в нем художественно и почему. И потом написать друг другу

или, если возможно будет, свидеться и обменяться добытым. Я убежден, что ты много пыталась уже на этом пути, не называя, может быть, этого феноменологическим анализом.

Вести из России не радуют. Цинизм последних и готовящихся мероприятий Министерства народного просвещения производит впечатление какой-то жажды побить рекорд, выкинуть не виданное даже еще и в России³⁰. И я не только боюсь, но отчасти знаю как факт, что атмосфера, создаваемая этими мерами, — деморализует многих. Вспомни хотя бы «боязнь» профессоров медич<инского> института ходатайствовать за увольняемых, дабы «не попасть в опалу, в проскрипцию»³¹ и т. д. Из Москвы долетают иногда вести еще более горькие. Внутренне с тревогой оглядываешься и ищешь, где же тот большой и сильный, который сказал бы нужное, необходимое, что обожгло бы общественную душу, потрясло бы ее и остановило бы те расплзающиеся щели и трещины, от которых шатается и осыпается все, без чего трудно дышать. Горько чувствую отсутствие С. Н. Трубецкого³²; не знаю, кого бы можно было назвать еще после него. Толстой... он далеко стоял от этих кругов.

Тягостно возвращаться в Москву. Я даже не могу представить себе, сколь далеко зашла эта противоестественная дифференциация на «ушедших» и «оставшихся»³³. Знаю только, что появились люди, ругающие ушедших за неэтическую атмосферу, созданную «ушедшими» в университете за то время, пока они были у дел. Как покажется тебе такое суждение: «Правые (т. е. ликующие свиньи) профессора Моск<овского> унив<ерситета> могут ссылаться в оправдание своего поведения на партийность и недостаточную культурность — этичность левых, в бытность их у власти»?

Суждение это выдвигается Б. Кистяковским, не могущим простить факультету, что на кафедру госуд<арственного> права провели не его, а С. А. Котляревского.

Итак: ты был подл; он стал подл; молчи на его подлость, ибо ты был сам подл. В воздухе слышится призыв к совокупной, упоенной соборной подлости...

Не знаю, как придется жить в атмосфере такого давления.

Есть недоразумения, которые не следует исправлять. В своем последнем *большом* письме ты писала по поводу моей мысли, «что я опоздал на тебя». То, что ты написала, было само по себе настолько важно, ценно и существенно, что мне не хоте-

лось разъяснять отсутствие основания для твоих возражений. Под «опозданием моим на тебя» имелось в виду не то, что «ты в прошлом» или что «я не догнал тебя», — а нечто гораздо более простое: у меня было чувство, что в твоём душевном помещении все места, отведенные (не для идей или чувств, Боже упаси!), а для людей, — не только разобраны, но задолго вперед расписаны; или иначе — что отношений к *людям* у тебя настолько много и настолько качественно разнообразных и интенсивных, что тебе самым-таки простым и естественным образом — не до меня. Это было мне больно, но поделаться с этим нельзя было ничего: я «пришел» тогда, когда тебя уже «расхватали» и все, что ты могла отвести на «отношения к людям», было (по моему личному убеждению) превзойдено. Я думал и чувствовал, что нужно не о том хлопотать, как бы протереться к тебе, а о том, чтобы отшелушить от тебя побольше народу, претендующего на то, чтобы искупаться в даденной тебе обаятельной душевной благодати.

Но повторяю: нужно радоваться, что мое мимоходное сообщение о сравнительно совершенно незначительных и отошедших в прошлое переживаньях — вызвало «по недоразумению» столь значительные и мне лично дорогие проявления с твоей стороны. Я всегда мечтал о том, чтобы быть в состоянии «дать» тебе что-либо, хотя бы немножечко...

Твое физическое самочувствие удручает меня. Тем более что эмпирические условия твоей жизни обладают особым даром вязать петли и завязывать узлы, ничему не благоприятствующие. Ощущение такое, как будто хочется заставить тебя что-то оборвать, оторвать или вырвать; но каждый раз, как подходишь конкретно, видишь, как все разбегается под руками, как все оказывается не поддающимся изменению; руки опускаются, и с грустью думаешь о «материальных» невозможностях и о мифичности американских дядей. Все эти «Русские» и иные «мысли» и «Ежегодники» хороши только при условии предустановленной гармонии между пустотой их страниц и исписанностью *моих* листков, гармонией, требующей перемещения последних на первые. Иначе же...

Я теперь ничего не пишу; в молчании есть своя прелесть, свой отдых, покойная глубина. Да, фактически говоря, было бы и некуда. В «Вопросах философии» лежит рукопись, в «Рус-

ской мысли» лежит рукопись, в Германии тоже лежит одна. А в другие места не тянет. Внутренне часто возвращаюсь к вопросу о пошлости и феноменологически стучусь в нее. Если напишу, то позднее или для «Р<усской> мысли», или для «Вопр<осов> фил<ософии>». Писать о ней надо бережно; в самой теме так много суда, обличения и боли, что опасность: больше осудить, чем познать, — очень велика. Надо еще глубже вскрыть источники ее в *самом себе*; и напрасно не понимают люди, что истинный суд включает суд над собой и истинное обличение — самообличение. *Творческое* «нет» есть непременно «нет» по отношению к элементам своего микрокосма. Ненавистность пошлости — неопишима; у немцев захлебываешься в ней. Все живое воплощение высот — деградирующе. И самодовольство этого вседеградирующего массового хрюка — вопиет о себе не преставая.

Получила ли ты мой оттиск статьи о Штирнере²⁴ и прочла ли его? Хотелось бы слышать о нем хоть два словечка. Я послал его тебе в конце марта из Берлина.

Неопределенность моего положения в смысле командировки действительно велика и неприятна. Вплоть до последнего мига не буду знать — возвращаюсь я немедленно, с тем чтобы жить в Москве $1/2$ года на бивуаках и срыву возобновлять с полгода чтение лекций, — или получу возможность еще поработать спокойно и подвинуть диссертацию настолько, чтобы можно было будущим летом, проскочив в Выропаевку, *начать писать* ее уже текстуально... Угрожающие мне бесквартирные, необеспеченные, хаотически-нелепые $1/2$ года временами очень удручают меня. Главное, что задержатся работы по диссертации; а она у меня и без того не очень мчится. Не хочется подходить к ней как к академическому испытанию и отодвигать на второй план ее научно-творческий характер. Хочется, чтобы это была *Leistung*³⁵, а не смазанная магистерская компиляция. Мечтаю издать ее потом по-немецки; ибо знаю хорошо, что она, так же как и моя последняя работа о Фихте, — никому не будет нужна в России. А в Германии, может быть, кому-нибудь и сгодится.

Главное стремление мое — обуздать в работе формально-методологический, все разлагающий и распыляющий в анализе подход, который мне легок и свойственен, и сделать то, что труднее и важнее: дать синтетически строящее вскрытие. Знаю только, что о чужих мыслях меня больше не тянет писать: как ни старайся, хоть разорвись, — все не то, и чувствуешь себя добросовестным лгуном.

Когда побываешь в Москве и почувствуешь новые подготовки Станиславского, не забудь написать мне о том нарочито. Одна из моих давних и заветных мечт — иметь какую-нибудь связь с этим театром, — может быть, долго еще не осуществится, и я рад, что могу иметь через тебя нити и живые трепетные касания с Конст<антином> Сергеевичем. Этот человек, выдвинувший Россию в сценическом искусстве на то положение, на которое Толстой поставил ее в художественном и морально-философском отношении, имеет какую-то необычайно притягательную силу. От него прекраснее жить на свете...

Я радуюсь сильно океану. Не знаю, может быть, и правда «все — из воды»... Я увидел море впервые в Венеции, на Лидо, и после двухчасового общения с ним трудно было уходить. Тогда-то мы и решили поехать непременно на океан; он должен знать какую-то древнюю, первую мудрость, и известные сомнения должны быть стерты им. Есть пределы, на которых «нельзя» и «неизбежно» должны утрачивать свою непереносность; и другое.

Ю<лия> Л<азаревна> звала нас на Тегернзее; мы звали ее на океан. Она не переносит океана. А для нас он слишком важен. Она была у нас в Гёттингене заездом. Мы хорошо повидались с ней.

Не удивляйся моему молчанию из Италии — и не кори за него. Я убежден, что тебе лишь «потом», позднее стали стерпимы и нужны слова. Вероятно, это и со мной так будет. Но «тогда» и там их не хотелось и не нужно было. Ни самому говорить, ни слышать. Я и теперь говорю о том, что я там видел (хочется сказать: «что там было»), с трудом и иногда с болью. Если другой пережил то же, что я, или сходно, — то это радостно и тогда без слов все ясно; если же он нашел другое — нередко обратное, — то говорить абсолютно не хочется, ибо мои слова профанирующие, а его грубы, как конская скребница по языку. Я уверен, что если бы мы с тобой увиделись, то ограничивались бы такими восклицаниями: «А помнишь “это”?! А знаешь “это”?! А еще “это”?!». Но ведь в письме этого не напишешь: выйдет глупо...

А с течением времени, позднее, когда захочется слов и выжженные в душе места обрастут обыкновенной кожей, — мы с тобой увидимся и наговоримся «о Флоренции».

Кончаю на этом, Любочка моя! Адрес мой на месяца два еще до парижского адреса и поселения — годится гёттингенский. Они аккуратно пересылают.

Пиши мне, невзирая на возможные паузы, каждый раз, как тебе будет хотеться; я знаю, что иногда такое молчание, которое мне свойственно, производит впечатление *отсутствия* реакции, но это совсем не то; твое письмо, полученное мною, — ни одним словом своим не пропадает втуне, да и нужно ли говорить об этом?

Передай мамочке и всем Вашим душевный привет от нас обоих. Мы крепко целуем тебя.

Жду ответных звуков и откликов *quam potest velociter*³⁶.

Твой В<аня>.

Л. Я. Гуревич 1912. 5 дек<абря>
<Москва>

Любочка моя!

Очень хотелось бы вестей от тебя. Напиши мне при первой возможности о себе и своих делах. Я постоянно «заталкиваю» в себе мысль о твоих материальных делах, до того она беспокоящая и укоряющая. Наконец, на днях докатилось ко мне известие о предстоящем твоём вступлении в художественный отдел «Русской мысли», и признаюсь, что одна возможность такого слуха принесла мне некоторую радость и облегчение. Хотелось бы знать, сколь это вероятно или верно. О предстоящем уходе Брюсова³⁷ слышал еще раньше. Слух сей храню пока от всякого разболта.

У Станиславского после той открытки был в студии всего один раз. Имел с ним еще беседу. В Худож<ественном> театре видел пока только «Гамлета» и «На дне» (играл К<онстантин> С<ергеевич>). «Гамлет» произвел тягостное впечатление. Духовная суть драмы недопонята и недообъяснена. За исключением Лужского³⁸, треть<е>степенных ролей (Розенкр<анца> и Гильд<естерна>, убийцы в Гонзаго) и кое-чего у Качалова³⁹, — игра артистов убога. Крэг⁴⁰ во всей постановке и в замысле явно мешал Станиславскому, и «стиль» пьесы (то, что называю

стилем) вовсе не найден. Есть грубые и элементарные художественные лапсусы.

Впечатление, в общем, такое, что если и впредь <у> Станиславского в атмосфере его исканий будет не хватать принципиализирующего осмысления его гениальных завоеваний, то многие откровения его художественного дара могут и для него самого и в истории сцены поблекнуть, отпасть и затеряться: нет сознания, что «*это завоеванное что-нибудь*» (напр<имер>: говорение зрителю через непосредственную незаметность художественного образа, а не через рефлексивно придуманный и рефлексивно воспринимаемый сценический трюк (декоративного или иного характера); или: необходимость найти единый всеосвещающий духовный стержень *драмы* и сделать его всеопределяющим и все-о-необходимливающим стержнем *постановки*) художественно *необходимо*, а не случайно удачная интуиция, и если необходимо — то почему. По-видимому, недостаточно обставлен и литературно-метафизический анализ драмы. Может быть, я напишу в об этом К<онстантину> С<ергеевичу> письмо.

Зато в личных исканиях своей студии Станиславский изумительно прогрессивен. Глубок и обаятелен. Мешает ему несколько неумение *объяснить*; он гений для *конгениально понимающего* или же для заражающейся об него ординарной души. Но когда этой ординарной душе нужно *объяснить*, то здесь он бывает бессилён: не хватает психологического знания, педагогического дара, фиксирующей предмет *мысли*.

Словом, ему очень трудно справляться с данным ему или его гению эстетическим откровением.

Вот и все пока.

Я живу тихо. Вокруг все кишит человеко-образными. Людей мало. Но зато тем дороже и чудеснее эти человеки. Лекции меня утомляют все меньше и меньше. Иногда (по субботам), прочитав 5 часов лекций (от 10—1 и от 2—4), я прихожу домой и сажусь читать или заниматься. То, о *чем* я читаю (лекции), постоянно волнует меня. Слушаю, как в душе растут травы и деревья и все крепнет и сбрасывает свою субъективистичность — она Сама: Очевидность духовных обстоятельств. Пределы моих интересов за это время: Студия Станиславского и Психиатрическая клиника. Диссертация постепенно двигается. Читал в Психологич<еском> обществе доклад «о сущности смысла».

Есть поручение к тебе. Владимир Иванович и Евдокия Ивановна Герье, кои сейчас и до 20 декабря в Петербурге, очень

просят тебя, не выберутся ли у тебя свободные полчаса, чтобы познакомиться с ними и побеседовать о «Записках» Смирновой⁴¹. Евдокия Ивановна стоит сейчас в центре разбора бумаг обоих Станкевичей⁴² и очень нуждается в нескольких указаниях от тебя применительно к той эпохе. Оба они очень стары и почтенны и потому просили *тебя* позвонить к ним в Европейскую гостиницу. Если тебе почему-нибудь нельзя, то хоть напиши им. Они *очень* просили.

Хотелось бы очень повидаться с тобой. Не соберешься ли в Москву? Было бы превосходно!

Припиши мне несколько слов о Кате и Луарсабе. Мы оба крепко целуем тебя и Лелечку. И еще просьба: сообщи, пожалуйста, адрес Ю. Л. Крейцер⁴³.

Таяя шлет тебе отдельно еще привет и все собирается написать тебе. Я ее дразню, что она так и прособирается.

Квартирой мы довольны. Прислугой — недовольны. Вот и все пока.

Пиши же.

Твой В<аня>.

Моментами мне кажется, что у меня вырвется скоро из-под пера нечто «о сценической стилизации». Можно ли отдать это тогда Струве? Т. е. *ты*, лично, ничего не имела бы против?

Л. Я. Гуревич 1913. 9 апр<еля>
<Москва >

Любочка моя!

Следуя твоему письму, был у К. С. Станиславского в уборной и беседовал. Беседа имела для меня некоторый результат, хотя определенно отрицательный. Так, К<онстантин> С<ергеевич> объяснил мне, что все, что он себе представляет в виде сотрудничества, — это посещение мною студии *ad libitum*⁴⁴ с возможностью, что случайно подвернутся какие-либо справки, за которыми он тут же на месте мог бы и обратиться ко мне. Что, далее, в какой-нибудь подсобности для книги он не нуждается и что, наконец, какие бы то ни было теоретические занятия с учениками студии они принципиально исключают из программы вовсе. Вообще, беседа произвела на меня впечатление, что он подозревает во мне молодого человека, нуждающегося в зарботке или вообще в жизненном устройении; и еще то впечатление, что он говорил тебе о каком-то ином одиночестве, а не теоретически-творческом. Ты была бы не права, если бы подумала,

что я держал себя нескромно или навязчиво или что я теперь уязвлен в самолюбии.

Был, правда, момент, когда самолюбие могло и пострадать, но состоялось обратное, т. е. мне стало неловко и совестно за него. Именно: я выразил ему большое сожаление, что так и не видел его в «Мольере», и сказал, что я просил Сулержицкого⁴⁵ о двух марках на генеральную репетицию. Он ответил: «Ну, знаете, это было невозможно; если мы будем всем служащим давать по две контрамарки, то нам придется три генеральные репетиции устраивать...» У меня не хватило духа сказать ему, что я *не* служащий, но на торговлю марками со стороны барышников я ему указал.

Ну и вот. От посещения студии не зарекаюсь, но думаю, что посещения эти — утомительные, несвоевременные и, в сущности, любопытствующе-бесплодные — сведутся к минимуму сами собой. По отношению же к теории К<онстантин> С<ергеевич> занимает позицию курьезно-обскурантскую; это было просто любопытно слушать, когда они вдвоем с Сулержицким начали в два голоса исповедовать недопустимость теоретических занятий.

В одном могу тебя уверить, что если бы К<онстантин> С<ергеевич> *теперь* меня позвал или зачем-нибудь ко мне обратился, — то я бы с радостью сделал бы то самое, что сделал бы и *до* этого разговора. Но он явно склонен культивировать неинтеллигентность в молодом актере.

Кончаю пока. Не брани меня за не те известия. Поцелуй Лелю от нас обоих.

Шлем тебе привет.

Твой В<аня>.

Л. Я. Гуревич 1914. Сент<ября> 19
<Выропаевка>⁴⁶

Любочка моя!

Слишком давно собираюсь написать тебе, и ты права, недоумеваю несколько молчанию моему. Меня особенно тронула твоя вторая открытка, настигшая меня в Москве.

С тех пор как мы расстались с тобой на вокзале в Софии, с нами было следующее. На следующее утро мы двинулись из Софии, взявши двадцатиместный билет до Рущука с распределением «нехватаящих пассажиров»; багаж сдали до Бухареста. Но в дороге, обдумав все, я внезапно предложил повернуть на Варну, с тем чтобы сесть там на русский пароход. Пересадка

совершилась молниеносно и удалась прекрасно благодаря огромной любезности болгар и нашей сплоченности. Проведя ночь в клопном отеле Варны и переплатив за билеты на пароход, мы сели на следующее утро и... поплыли. Нас качало жестоко 15 часов, я заболел первый, мучился 6 раз (!), Таля не поддалась и отделалась дурнотой. В Одессе высадились слабые и разбитые и благословляли судьбу твою; избегнув моря, ты была права. День в Одессе, три дня в пути ж<елезной> д<орогой> и три недели в Судаке. Оттуда я телеграфировал Стасюлевичу⁴⁷ и получил ответ, что рукопись⁴⁸, посланная из Вены, не пришла. Дубликат к ней лежит в Вене с книгами на складе. Затем телеграфировал в воинское присутствие и получил ответ, что звание магистра и «постоянное» преподавание в университете освобождают меня от призыва из запаса в армию. Звания магистра у меня нет; программного же преподавания факультет меня лишил весною; термин «постоянного» преподавания университету неизвестен. Тогда телеграфировал в университет, в канцелярию, и через восемь дней получил ответ: «Присутствию сообщено, по отзыву декана (Гидулянова⁴⁹) о практическом рекомендуемом, принимаемом зачете курсе». Это означало, что Котляревский, обозванный мною предателем по телефону, постарался восстановить мой семинарий (но не восстановил моего дополнительного курса) и что Гидулянов не желает поставить в отзыве тот термин, которого требовало воинское присутствие, 6-го мы выехали из Судака, 8-е и 9-е я провел с Талей в Выропаевке и, оставив ее там, поехал в Москву. Здесь узнал, что преподавание в Коммерческом институте тоже освобождает меня от призыва; однако переговоры с Новгородцевым выяснили, что он совершенно не желает дать мне соответственное удостоверение (месть за Котляревского). Поездка в Бронницы (где я приписан) выяснила наконец только 14 сент<ября>, что я освобожден от призыва, т<ак> к<ак> воинский начальник признал отзыв университета подходящим под закон⁵⁰. В этот же день я получил твою открытку и из нее узнал, что есть надежда на то, что рукопись моя спаслась. Немедленно написал Стасюлевичу (ответа еще нет), уехал в Выропаевку. Сегодня переезжаем совсем в Москву.

Вот все внешнее. Возможность, что придется служить войне самыми низшими и элементарными сторонами тела и души, угнетала. С 14-го чувствую себя как бы воскресшим, ибо могу отдать этому делу самое лучшее, что есть у меня, ради чего я жил и работал.

Пока кончаю. Обдумываю публичную лекцию об «истинном патриотизме», пишу вступительную лекцию: «Война как ду-

ховное делание». Чувствую острую потребность сказать тебе, что кроме литературной и общественно-организационной форм участия есть еще одна, с виду незаметная, но неисчерпаемо важная и значительная: *личное общение с ранеными*. За это можно даже отдать вторую форму; ты, как никто, создана для этого и то, что ты им дашь и сама получишь — *огромно!*

Тяжелый удар, который судьба нанесла Висе и мамочке⁵¹, чувствую живо и остро. На днях напишу ей. Поцелуй ее от меня крепко и духовно.

Обнимаю тебя и Лелю. Напиши в Москву! Как вы все живете войной? Таля целует.

Твой И<ван> И<льин>.

< Приписка: > Куда провалилась «Русская мысль»?

Л. Я. Гуревич 1914. Сент<ября> 26
<Москва>

Любочка моя!

Вчера получил твое письмо и все ломаю голову, как бы подпереть твой бюджет. *Не есть нельзя*, это не исход, а самоликвидация. Не понимаю образа действий Струве, как это можно было согласиться в такое время, чтобы ты «пошла ему навстречу». Хорошо бы тебе устроиться на постоянные «письма из Петербурга» в моск<овские> газеты, «Русское слово», напр<имер>, загребает сейчас колоссальные барыши. В Москве издается еще при участии Д. И. Шаховского⁵² народная газета «Защита». Очень существенно было бы, напр<имер>, выяснить дух Петербурга в отличие от московского духа. Почему тебя совсем не видно в «Русских ведомостях»? Они тоже идут сейчас хорошо. Затруднены сейчас, к сожалению, авансы... Не сходить ли куда-нибудь от твоего имени? Вели.

Настроение Струве — дико. Какая-то ошалевшая мужчина! Он, по-видимому, не видит, что в России духовный подъем все нарастает и все сильнее захватывает интеллигенцию. Поднять подписку на «Русскую мысль» *ничего не стоит*. *Необходим* ряд статей — экономических, исторических, стратегических, политических, этических и метафизических — о *войне*. Если это будет, — то журнал будет *нарасхват*, если нет, — то Струве должен *своевременно* уступить свое место и передать журнал в более способные и бодрые руки. Я не знаю его статей в «Биржевых ведомостях» — содержание одной из них, переданное мне вчера Бердяевым, — возмутительно. Приглашение студентов в добровольные офицеры:

1) истерично, ибо подсказано шалой и растерянной эмоцией;
 2) нравственно-непозволительно, ибо такие нравственные решения нельзя провоцировать из кабинета газетными статьями; Струве не вербовщик;

3) политически — вздорно и вредно — судьба России не кончается этой войной и интеллигенция *необходима* на «после войны»; к этому она и должна готовиться;

4) стратегически — излишне, ибо новый закон о воинской повинности прямо предоставляет правительству право в случае нужды призвать под оружие студентов, коим есть 21 год и кои имеют отсрочку.

Не менее возмутительна идея Струве о том, что вся Россия должна быть превращена в тыл армии. Я всеми силами работаю и буду работать во имя обратного: *армия должна стать вещественным выражением духовно-творческого подъема в стране. Дух должен понести армию к победе, а страну к обновлению. Иначе не стоит жить!*

Я не марксист, но идеология Струве — торгово-промышленная; его пути и меры годятся только на пользу торгового договора с Германией. Пока я слышал такие воззрения только от Д. Е. Жуковского⁵³, ограниченному и бесплодному уму которого не видно ничего, кроме того, что бьет его по его круглой голове.

Не могу не восстать ввиду всего этого и против твоего ухода из «Русской мысли». «Русская мысль» есть ныне *публичная трибуна* и как таковая — *народное достояние*. Нельзя было (по моему убеждению) отходить от нее так, как деликатный мастер берет расчет у затрудненного хозяина. Частно-правовая концепция представляется мне здесь духовно неверной, и если «Р<усская> м<ысль>» кончится, то возникнет другой и третий журнал. Неврастенически затрясшиеся руки Струве будут заменены более спокойными и духовно бодрыми.

Вообще, Петроград как-то рисуется мне более растерянным и беспокойным. В Москве, наоборот, за исключением кое-каких дам, получивших прозвище «газета Дамская Паника», царит большая бодрость, творческая и организационная. Родзянко⁵⁴ на днях изумлялся тому, что здесь устроено Земским союзом⁵⁵; а он не видел еще частной инициативы. *Каждая* социальная ячейка имеет свой лазарет, где *все* бывают свободно, несут раненым что хотят, говорят с ними свободно и откуда раненые иногда даже ухитряются слетать на родину к своим повидаться. Постоянно можно видеть на улицах пары: раненый — ин-

теллигент, раненый — барышня, раненый — ребенок — гуляют. Их водят в Третьяковскую галерею, в Народный дом; лежащим поют, читают вслух, рассказывают сказки, играют на инструментах. «Мобилизованы» для этого все артисты. Высшие учебные заведения ломаются; посещаемость огромна. Напр<имер>, на первой лекции моего *необязательного* курса в университете было около 150 человек. Курсы наши набиты; да и совсем не только наши. Хотят учиться и совсем не только «слушать о войне».

Евг<ений> Трубецкой и Рачинский⁵⁶ устраивают при Земском союзе лекции *de rebus omnibus*⁵⁷ в пользу раненых; называется так: «Научно-духовно-религиозное осмысление войны». Предполагается читать в Москве, Петрограде и провинции. Пока они получили согласие от: себя, Новгородцева, Котляревского, Булгакова, Маклакова, Ледницкого⁵⁸, Бердяева, Эрн, Давыдова⁵⁹, Вяч<еслава> Иванова, историка Егорова⁶⁰ и меня. Компания — винегрет, но никто не отвечает за соседа; это, по моему, неправильно, ибо воззрения бывают разные Напр<имер>, Гершензон и Эрн прямо близятся к черносотенству. Булгаков в одной из своих первых статей уже оплевал петербургских рабочих, западничество, защитников Бейлиса⁶¹, Белинского и политических либералов, а про правительство так сообщил: «И наше правительство без всяких перемен в личном составе своем стало истинным народным правительством». Однако они клянутся, что Булгаков «больше не будет», а Эрну на «религиозно-военном митинге», предположенном в консерватории 6 октября, не позволили читать о Германии речь под заглавием: «Бронированный свищ», а заставили так озаглавить: «Кризис современной Германии»; однако, уступая Эрну, допустили подзаголовок: «От Канта к Круппу»⁶².

Я обещал им две лекции: «Что есть истинный патриотизм» и «Война как духовное делание». Вторая вчерне готова. Когда буду читать — не знаю.

Если у тебя есть еще нить в «Русскую мысль», то, пожалуйста, узнай у Струве, когда он предполагает напечатать Талю и меня. Я просил его о *корректурах*.

Еще одна просьба: если у тебя сохранилась обложка от моего оттиска (из Вены) или если таковая обложка есть у Луарсаба или Виси, — пошли *ее*, пожалуйста (т. е. обложку), по адресу: Ивану Николаевичу Литенину в типографию Стасюлевича, Вас<ильевский> остр<ов>, 5-я линия, д. 28. Получил ли Луарсаб мой оттиск? Если прочтешь присланные статьи — напиши.

Пока, в ожидании возможных поручений, крепко целую тебя и Лелю. Хочу на воскресенье проехать в Крюковку. Всем привет.

Твой Ив. Ильин.

Богдан Кистяковский так говорит: «Можно надеяться, что война будет вничью и немцев не разобьют окончательно».

*Л. Я. Гуревич 1914. 27 окт<ября>
<Москва>*

Любочка моя!

Сделаю все возможное, чтобы «Война и культура» пригласила Л.⁶³ прочесть лекцию. Не знаю, удастся ли. Ты даже ни слова не написала мне о его умонаправлении в деле войны. Я знаю, что он может быть высок и изумителен, и верю тебе на слово, что он и сейчас на высоте. Но очень возможно, что такого голословного заверения окажется мало для г. г. «Война и культура». Тем более что там нет ни одного, который «принимал» бы «меня без оговорок», а Новгородцев и Котляревский охотнее всего похерили бы меня вовсе. Напиши хоть что-нибудь.

Вчера прочел лекцию. Тезисы, которые плохо передают одну вторую часть лекции, прилагаю. Были Гриша⁶⁴ и О. В.⁶⁵

С 8 до 18 ноября предполагаю ехать в лекционное турне с Трубецким по южным городам. Подбиваю его в Варшаву и Петроград; может быть, и туда съездим. Не соединиться ли мне с Луарсабом для Кавказа? Поговори с ним об этом; скажи ему, что я просил тебя об этом справиться. Тогда можно было бы и списаться.

Сажусь за доклад в Псих<ологическое> общество: «Моральные антиномии войны». Обдумываю еще две лекции: «Что есть истинный патриотизм» и «Война и правосознание» (т. е., собственно, «право и воля к добру»). Лекцию о патриотизме я и хотел бы: 1) прочесть в Москве в пользу евреев и поляков; 2) свезти в Варшаву и на Кавказ.

«Духовный смысл войны» я не вижу никакой возможности направить в «Русскую мысль». Струве до сих пор не напечатал ни Талю, ни меня, хотя печатает всякую дрянь и *не* о войне, а о войне печатает даже неприличные пошлости Эрна и Иванова и пустословие Рачинского и Булгакова. Все эти речи я слышал, и все мы их слушали с тоской и отвращением. Пока Струве не напечатает наших весенних присылок, я не пошлю ему ничего.

Молодежь мужская забрасывает меня записками о том, что им делать в моральном конфликте «за войну и против убий-

ства» и какой смысл войны вообще и в частности, — и ждать, пока Струве извлечет к июлю месяцу мою статью из-под «спешного» материала — нет *объективно* никакой возможности. Издам иначе, вероятно сразу отдельно. Очень обнимаю тебя и нежно приветствую. Пиши скорее.

Ваня.

Целую Лелечку.

P. S. Саккер прислал телеграмму. Если спросит — отзовись *незнанием*.

Л. Я. Гуревич 1915. 19 февр<аля>
<Москва>

Любочка моя!

Спасибо тебе за хорошее письмо. Радуюсь, что кусочек моей второй книги, преждевременно отторгнутый мною от родимого лона, пришелся тебе по душе. Цензура хотела на него ополчиться, усматривая в нем «призывы к преждевременному окончанию войны»; вышла задержка на 5 недель, но прокуратура и окружной суд оказались на высоте и ни минуты не колебались. Это признание невинности заставляет меня подумывать о сепаратном выпуске его, так как теперь его уже нельзя преследовать. Я еще не кончил Гегеля, а вторая книга моя растет и зреет; многое уже написано начерно; но Гегеля нужно кончить раньше. Да и лекции (17 часов в неделю!) отнимают много времени. А тут еще пришлось писать «Общую теорию права» для гимназий (основную часть коллективного учебника по законоведению)⁶⁶. Впрочем, это уже идет к концу; важно и для заработка, может быть, будет давать ежегодную ренту. Огорчает меня, что все не удастся выручить рукопись Гегеля из Австрии; семь листов уже *напечатано*, на семь печатных листов в том куске, который австрийцам понадобился, листов на шесть готово уже (в столе лежит) да еще листов шесть-семь нужно дописать. Всего с добавлениями может набраться листов до 30 печатных. Больше всего меня удручает эта задержка потому, что в той духовной борьбе за настоящую философию и за свою независимость, которую я веду сразу на несколько фронтов, все акты критики и отрицания *требуют* положительных, больших работ, дабы превратить посягательство и претензии в естественное и обоснованное дело. Главное во всем этом *метод*, не в смысле абстрактных правил или пустых дистинкций, а в смысле живого, творческого распоряжения внутренними силами души, могущего превратить «просто душу» в «духовное дости-

жение объективного предмета». Философия (логика, этика, эстетика, метафизика) имеет *свой предмет*, столь же объективный, т. е. несравненно более объективный, чем камень, прошибающий голову, или половое влечение, мутящее душу. Это надо не только сказать, а *показать* так, чтобы обнаружилось все вывихи и извращения мнимого философствования и псевдорелигиозного словоблудия. Надо указать и показать *ad oculos*⁶⁷, в противовес всем параноидизирующим антропофиям, истерическим православничаниям, субъективным шатаниям, игре в понятия и проблемы, что философия нуждается прежде всего в *честности* и *смирении* и еще, во что бы то ни стало, в душе, *владеющей* своими эмпирическими недугами, травмами, комплексами и неврастениями⁶⁸. Если этого нет, то — все к черту! Книги — гроб «учения» — трупы, всеобщее и явное гниение. Надо *все заново*, и к этому я прежде всего зову мою молодежь. И есть такие, которые оставляют все (буквально) и идут, куда надо. А это великая радость.

В середине января я обратился с вызовом к Эрну.

«Кант и Крупп» должны быть публично обсуждены. Посылаю тебе его фельетон. 29 янв<аря> состоялась грандиозная дезинфекция. Эрн читал доклад о феноменализме, проблема теории познания разбиралась им так: субъект = мужчина; объект = женщина; знание есть соитие между мужчиной и женщиной; это соитие может совершаться различными способами: нормальными и извращенными; теория познания есть «половая онтология»; Кант был евнух и вел флирт с Богом *etc.* Я говорил 1 1/2 часа; я никогда еще никого так не разоблачал, я перервал ему глотку. Когда я кончил и ушел, то у некоторых было впечатление, что от Эрна остался один труп; в эту ночь в нескольких домах (из публики) совсем не ложились спать. А я вернулся домой больной телом и душой; теперь будут бояться. *Oderint, dum Metuant!*⁶⁹ Подумай! Иванов, Эрн (они живут в одной квартире), Рачинский, Булгаков и Скрябин⁷⁰ усвоили и распространяют следующее: «война» — это совсем не так плохо, это только периферия, а центр в душе гениальных художников, а кровь, которая на войне льется, — благо: ею *мы* очищаемся. Скрябин так и говорит: все, что делается на войне, — только поводы к космической радости. Все эти грязные болтуны привесили к войне свои извращенные садистические и мазохистические чувствованья и *тлят* воздух; для них война — грациозное мультанское дело⁷¹ (ты помнишь? вспомни!). И все это идет от *Христа!* Они — христиане: ведь это Христос заповедал — очищаться чужою кровью и пить ее. Не чудовищно?! Вся эту гадь — надо

немедленно в окопы, под немецкие пулеметы. Иначе скоро нечем будет дышать!

Ты прислала мне хорошего, умного и чуткого мальчика. Ему нужен только сознательный *путь*: уверенность в *объективности* «внутреннего предмета» и уверенное *умение* овладеть им; меньше «думать», больше «смотреть» и «видеть» и нещадно дезинфицироваться. Говорю это не потому, что рассмотрел его, а потому, что это *всем* нам необходимо, без исключения.

Талину работу о Боттичелли я недавно прочел восьмой раз; вероятно, много раз еще впереди. Каждое чтение вводило меня в новую глубину, иногда неожиданно открывающуюся, иногда чаемую заранее. Мы выпустим ее отдельно, дорогим изданием, с хорошими репродукциями.

22 февр<аля>

Кончаю через три дня; оторвали дела. 20-го был концерт Николая Метнера; вот уже два дня с тех <пор> прошло, а душа все еще насыщена этими исключительными духовными достижениями так, как если бы перевернулись целые страницы жизни. Музыкальная мощь этого человека поистине потрясает и утверждает одновременно. Если приезд его (на 6-й неделе) в Петроград состоится, пойдти непременно.

Беспокоит меня твоя заработочная беспочвенность: птицы небесные и то часто присаживаются на землю за пищей, а ты как-то сама все вырываешь из-под себя опорный минимум. Неужели же со Струве совершенно невозможно иметь дело? Я, конечно, понимаю, что мне этого отсюда не понять; но ведь, с другой стороны, его военное ошаление ведь могло бы пройти вместе с войною. Что же бы ты стала делать на *моем* месте в царстве лукративности⁷² и коррупции, именуемом юрид<ическим> фак<ультетом> Моск<овского> унив<ерситета>, или в царстве зложелательного либерального подхалимства, именуемого Моск<овским> комм<ерческим> институтом?! Думается мне, что окончательно со Струве порывать не следует: опомнится; да и «Русская мысль», которая, конечно, вполне не на высоте, думается, имеет еще будущее. Не брани за это особое мнение.

Крепко тебя и Лелю целую. Таля шлет привет.

Твой В<аня>.

<Приписка:> С. Гессен прислал мне зов от Петрогр<адско-го> Рел<игиозно>-фил<ософского> общества⁷³, читать о войне, что хочу. Я ответил, что имею только *напечатанное*, но что если Общество хочет обсуждать мое печатанное, то приеду. Напиши мне, хоть коротко, очень ли это стыдное Общество, *обычно и теперь, в войну?*

<Приписка:> Газетный вклад не мой; верни, прочтя!

Л. Я. Гуревич 1915. Июня 19
<Выропаевка>

Любочка моя!

Ты, наверное, хулишь меня за молчание. Не хули. А сядь и напиши мне, как мы с тобой летом увидимся. Надо обо многом поговорить. Будешь ли ты в Крюковке и когда? Все напиши подробно.

Мы в Выропаевке. Полжизни занято войной, остальное отдано работе. Война угнетает иногда до такой степени, что начинаешь задыхаться. Беспомощно сжимаю кулаки, страдая еще больше от внутренних немцев, чем от внешних. Мечтаю, что в Москве можно будет делать снаряды, а пока довольствуюсь противогазами... Крестьяне болтают вокруг невообразимую ерунду. Все время приходится держать себя в руках, чтобы остаться на своем *главном* творческом пути до последней возможности.

Достал через Саккера декабрьскую книжку «Сев<ерных> записок» и прочел твою статью. Если бы люди, пишущие и печатающие, *так* думали и работали, как легко было бы жить в русской литературе. Какая царила бы духовная гигиена. Статья чудесна по верности и глубине чувства.

Почему ты мне ее не прислала сама? Я ведь тебе *все* посылаю!

Кончаю «Гегеля» (середина все еще в Вене!) и вынашиваю статью о сущности правосознания. Хотел писать о метафизике Моцарта и Сальери⁷⁴, но под этим заголовком появилось уже так много... пошлости, что отменил. Да и тема сама глубже, чем она взята у Пушкина.

Напиши же мне о своих намерениях! Крепко тебя обнимаю. Твой И<ван>.

Получила ли ты книгу от Тали, оттиск «Боттичелли»?⁷⁵

Л. Я. Гуревич 1917. 5 июня
<Выропаевка>

Любочка моя!

Дорого бы я дал, чтобы с тобою теперь повидаться и вызнать все о тебе, что ты и как. Известий от тебя не имею, сама знаешь, — аридовы веки⁷⁶. И с тех пор Бог знает, что в нашей России поделалось. Тебе обо мне, наверное, что-нибудь мама сообщила. Да я, кажется, прислал тебе пару маленьких пасквилей собственного пера. Но *мне о тебе* мама не сообщила ни единого словечка.

Поэтому сядь и напиши мне. Только *не* после 1 часу ночи. Тогда лучше не пиши.

Я в Выропаевке с 20 мая (ст. Лазарева Тульской губ.). Почти три месяца работал не щадя живота, организуя и говоря публично. Теперь оторвался и уехал есть и писать. Больше не могу. Да и доктор велел.

Пишу: 1) восьмой по счету пасквиль для народа⁷⁷. 2) Кончаю книгу «О сущности правосознания» (выйдет осенью). 3) Восстанавливаю утерянные главы Гегеля. 4) Редактирую брошюры для народа.

Издательство наше называется: «Издательство преподавателей Моск<овского> университета». Деньги дает Комитет Госуд<арственной> думы. Люди вошли от общества младших преподавателей, в коем я состою членом президиума. Редакторов пять: по всеобщей истории — Д. Н. Егоров. По русской истории — Ю. В. Готье⁷⁸. По полит<ической> экономии — Железнов⁷⁹ (заменяет Н. Н. Шапошникова). По праву и политике — М. М. Винавер и я. (Два были когда-то к<онституционными> д<емократами> — прочие беспартийны.)

Поэтому очень прошу тебя, если мы тебе подходим — напиши нам, а мы напечатаем! Гонорар! Можно писать или для интеллигенции, или для народа. Можно и туда, и сюда. Гонорар: за печат<ный> лист в 36 000 букв за 25 000 экз. — 250 р.; за новые двадцатипятидесятые серии прибавка — по 175 р. Наши издания перепечатывает Земский союз в Киеве, и тоже приплачивает.

Темы: Порядок или беспорядок?

Что такое демагогия?

Что такое провокация?

Класс или государство?

Одна власть или две власти?

Что такое демократия?

Что такое подкуп на выборах?

Равноправие женщины.

Если бы ты соблазнилась и сделала, то причинила бы мне *большую радость!*

Народная брошюра, пущенная в 100 000 экз., может дать за лист свыше 1000 рублей! А я боюсь, что тебе они сейчас нисколько не помешают. Можно ли надеяться, что ты выедешь из Петрограда? Когда ты будешь у мамы, в Ревякине? Напиши!

Я был при старом режиме буржуазным радикалом и федералистом-демократом (прибл<изительно>) вне партий. Я и сейчас вне партий (не могу отказаться от драгоценного права на глупость!). Но в остальном... Я прежде всего сейчас патриот, стоящий за настоящую аристократию духа.

И потом верую:

Что в искушеньях Божьей кары,
Перетерпев судьбы удары,
Окрепнет Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат⁸⁰.

И только этой верою держусь. И потому с непрерывною болью работаю — думая о будущих поколениях нашей чудесной, временно падшей, России.

Обнимаю тебя крепко. И жду слов!

Твой В<аня>.

Лелю целую.

P. S. Неужели Аничка — большевичка?!? ⁸¹

<Приписка:> На днях напишу Луарсабу!

